

александр кушнер



Национальная библиотека
Созданная в 1999 году

александр кушнер

земное притяжение

Книга новых стихов

МОСКВА 2015



УДК 821.161.1-1
ББК 84Р7-5
К96

Оформление — *Валерий Калныньш*

Кушнер А. С.

К96 Земное притяжение: Книга новых стихов. — М.: Время, 2015. — 96 с. — (Поэтическая библиотека).
ISBN 978-5-9691-1390-9

Александр Кушнер — автор десятков книг, лауреат многих литературных премий. Иосиф Бродский назвал А. Кушнера «одним из лучших лирических поэтов XX века». По словам самого поэта, «книга стихов дает возможность поэту, в обход эпического жанра, поэмы, повествовательного сюжета, создать целостную картину мира из осколков ежедневных впечатлений... это пылающий кусок жизни, отчет лирического поэта за несколько лет счастливого труда». «Земное притяжение» — книга новых стихов, написанных за последние три года.

ББК 84Р7-5

ISBN 978-5-9691-1390-9



© Александр Кушнер, 2015
© «Время», 2015

ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

I

Прохожий с глобусом в руке,
Держа его за ось земную,
Прошел от нас недалеке,
Но только в сторону другую.

Чем не Коперник, не Лаплас?
Быть может, Дарвином сейчас
Себя он чувствует на «Бигле»?
Пронес он Землю мимо нас.
Верни ее, мы к ней привыкли!

Да, прекрасная затея,
Но какой кошмар кругом!
Не спросить ли Галилея
Ночью как-нибудь тайком,

Выбрав тихую тропинку —
Не парадные пути:
Может быть, пора в починку
Мирозданье отнести?

В нем какой-то непорядок,
Что-то надо подкрутить.
Звезды чувствуют упадок
И усталость, может быть?

Сколько слез! Ничто не мило.
Отвечает Галилей:
— Боже мой, всегда так было!
Иногда еще страшней.

У кораблика речного нет названья,
Только номер, и почти не видно дыма.
Он, похожий на последнее желанье
Осужденного на казнь, крадется мимо.

Кто плывет на нем — под стать царю Улиссу,
Повидавшему Коцит, и Стикс, и Лету.
Этот город с дном двойным и виден снизу
По-другому, чем прижавшись к парапету.

Так темна моста чугунная изнанка,
Словно вдруг цветной ковер перевернули.
Разговор под ним звучит, как перебранка,
Как ночная переключка в карауле.

Всхлипы, жалобы, полуподвальный холод,
Ветерок потусторонний гладит темя.
Всё казалось: навсегда нам этот город
Дан в подарок, — нынче вижу, что на время.

Наша тень любознательней нас
И зайти норовит за ограду,
Где клубятся кустарник и вяз,
И взобраться наверх по фасаду,
И припасть к обнаженным ногам
Застоявшейся кариатиды,
И к чугунным прильнуть завиткам,
И прилечь на гранитные плиты.

Рисковала собой столько раз!
Что ей ров, что зубцы, что бойницы?
Наша тень безрассуднее нас
И храбрей, ничего не боится.
Любопытной, не терпится ей,
Наши беды презрев и заботы,
Оторваться от нас поскорей
В предвкушенье грядущей свободы.

ЗАМОК

Анатолию Кулагину

Если ты почему-либо должен остаться в городе,
На поездку, допустим, в Италию, денег нет,
Или старость пришла — и во всем ее долгом опыте
Разъездной больше прочих тебя утомил сюжет,

Или ты одинок — и тебе одному не хочется
Путешествовать, не перемолвясь ни с кем словом,
Или мало ли что, скажем, тень за тобой волочится
Неизжитой беды, наливая ступни свинцом, —

К замку, к замку пойди, что с одной стороны Фонтанкою,
А с другой узкогрудю Мойкою окаймлен.
К замку, к замку, с английской надменной его осанкою,
Бренна был итальянец, и всё же романтик он,

В замок, в замок, во двор его внутренний, — нечто странное
Ты увидишь, такое, чего не видал нигде, —
Замкнутое пространство граненое, восьмигранное,
Ни на что не похожее, как на другой звезде,

И поставленный сбоку, в горящем на солнце золоте
Шпиль, — как зодчий додумался, чтобы он так стоял?
Кто-то спрашивал: ваше любимое место в городе?
Не хотел никому говорить, а сейчас — сказал.

ДЕВЯТЬ ТОПОЛЕЙ

Вот девять тополей стоят в одном ряду.
Зачем мне надо знать, что девять их, — не знаю!
Но я их сосчитал, как будто на посту
Стоящих, стройный ряд — не группу и не стаю.

И более того, когда случится мне
Еще раз здесь пройти, пересчитаю снова,
Как если был бы я уверен не вполне
В себе; быть может, в них? Ну да, а что такого?

Где девять, почему б десятому не быть?
Подвинулись чуть-чуть — и встал меж них десятый.
Ты спросишь: для чего? А чтобы удивить
Меня. Волшебный ряд, дымящийся, крылатый!

Фабричный кирпичный район городской,
Унылая местность — и если какой
В нем дом приютится, то как он печален,
Как будто подавлен своею судьбой,
Его как бы нет, он почти нереален.

Живут ли в нем? Или пустой он внутри?
На окнах висят занавески, смотри,
И ящик, а в ящике этом цветочки —
О, желтые бархатцы, как янтари,
И ровно посажены, как по цепочке.

Неважно, что склады кругом, гаражи.
Цветочек, качайся, стекло, дребезжи,
Греми, грузовик, проноситесь, фургоны.
У жизни и здесь, в петербургской глуши,
Свои оправдания есть и резоны.

А кто говорит, что наскучило жить,
Его бы сюда привести, предьявить
Ему этот дом с задымлённым фасадом.
Есть чем утешаться, есть чем дорожить
И рядом с заводом, и рядом со складом.

В ГОСТЯХ

О смерти зашел разговор за столом,
И кто-то сказал, что когда бы комета
Грозил Земле — и всё сразу на слом
Пошло, то его бы устроило это,
А страшно, сказал, умирать одному.
И сказано было: лишить его слова!
И он, стусевавшись, спросил: почему?
Его пристыдили. И выпили снова.

Снежок под ногами лоснился, скрипя,
Чугунная тумба стояла, как в шлеме,
И я по дороге проверил себя:
Хотел бы я смерти нестрашной, со всеми?
Представил, что нет ничего впереди
У этого сада, ночного трамвая, —
И понял, что я по-английски уйти
Хотел бы, о гибели общей не зная.

ЗАБЫВЧИВОСТЬ

Всё куплю, а спички позабуду
Иль таблетку третью не приму,
Отвлеченный чем-то на минуту,
Позвоню, забывшись, не тому
И, себя ругая и жалея
И смущая стоном небеса,
Вспоминаю бедного Тесея,
Перепутавшего паруса.

А ведь он, несчастный, был моложе
И в подземном мраке победил
Минотавра дикого — и что же?
Черный цвет на белый не сменил!
Знал бы он, от Крита отплывая
В темноте, тайком, на склоне дня,
Что его оплошность роковая
Утешеньем служит для меня.

ПИКОВАЯ ДАМА

Что-то в «Пиковой даме» такое было,
Что меня еще в детстве заворожило,
Не про повесть — про оперу говорю.
Так от музыки этой меня знобило,
Что Чайковского втайне благодарю.

Может быть, и Флоренция виновата,
Где писал композитор ее когда-то,
Зной Флоренции северу предпочесть
Пожелав, раззолочена, тесновата,
Виновата — и всё! Почему, бог весть!

Предвкушенье какого-то зла, удара,
Приближенье затейливого кошмара,
Дамы пик с ее бледностью гробовой.
Повторение: та-ра-ра-ра, та-ра-ра.
Из театра под снегом домой, домой.

Что-то в музыке есть, что страшнее слова.
Может быть, потому, что она готова
Так и этак мелодию повторить
Ту же самую: завтра вернется снова,
Как бы ты ни старался ее забыть!

Не было тайны такой,
Чтобы она не раскрытой
Так и осталась в земной
Толще, веками забытой,
Подняты все корабли,
Что затонули, все клады
Найдены, Трою нашли,
Все обнаружены яды.

Древние все письма
Поняты, все неувязки,
Суть преступлений ясна,
Сняты железные маски,
И поэтессы нагой
Найденный чуть не в чулане
Чудный рисунок живой
Сделан рукой Модильяни.

Видишь: пропавшего нет.
Просится тайна наружу,
И открывает секрет
Нам свою темную душу,
Значит ли это, что смысл
Жизни к нам выйдет из мрака
Смерти, как из-за кулис
Гамлет, а может быть, Яго?

ПОЛНОЛУНИЕ

*...Златые стекла рисовала
На лаковом полу моем.*

Державин

Не зажигая свет,
Я в комнату, как в зал,
Вошел, в халат одет,
И «Здравствуй!» — прошептал
Державинской луне,
На комнатном полу
Писавшей что-то мне,
Надеюсь, похвалу.

Надеюсь потому
(Луна, какая честь!),
Что, раздвигая тьму,
Стихи мои прочесть
Смогла в полночной мгле,
Одобрить и понять:
Лежала на столе
Раскрытая тетрадь.

И комната моя
В мерцанье золотом,
Как будто полынья,
Подёрнутая льдом,
И впрямь была на зал
Похожа в этот миг,
Так лунный раздвигал
Ее скользящий блик.

И, глядя на луну,
Страхнув остатки сна,
Я думал: ну и ну,
На свете есть луна,
Не выдумка луна,
Она и вправду есть,
Светла и холодна,
Ни золото, ни жечь.

И встретится мой взгляд
С державинским на ней,
И никаких преград,
Ни смерти, ни скорбей,
Ни горя, ни веков,
Померкших вдалеке,
А только ряд стихов,
Не тонущих в реке!

В САДУ

Может быть, кажется этим дубам и кленам,
Липам и вязам, что люди им только снятся:
Свойственно людям во мраке тонуть зеленом,
Под шелестящей завесой уединяться
Или, присев на скамейку на солнцепеке,
Щеки лучам подставлять после зимней стужи.
Любят они и кустарник ветвисторогий,
Даже задумавшись, ловко обходят лужи,
К ним привыкаешь, в аллеях они гуляют
Десять лет, двадцать, им нравятся блеск и тени,
Но непременно куда-то вдруг пропадают,
Были — и нет, наподобие сновидений.

НА ПАРОМЕ

1

От дебаркадера в ночь на пароме,
Крадучись, медленно мы отошли.
Кажется, делаясь всё незнакомей,
Всё непонятней для твердой земли.

Только что самым высоким из зданий
Были — и вот нас у пристани нет:
Стали одним из разрывов, зияний,
Всё ощутимей и шире просвет.

Словно внезапно отпал от России
Пирамидальный, скалистый кусок,
Подняли якорь и в ночь заскользили,
Сделали воздуха свежий глоток.

Дело не в Хельсинки и не в Стокгольме,
Как поначалу рассчитывал ты,
Странную, тайную выбрали роль мы
Призрака, тени, плавучей звезды.

Мимо пакгаузов, верфей и доков,
Прочь от привычек, страстей и забот,
Скорбно, торжественно и одиноко
В Финский залив, в мировой небосвод.

II

2

А дальше — в укромной каюте, вдвоем,
В двухместной каюте, увы, без окна,
Казалось, что мы никуда не плывем,
Ни с места, — такая была тишина.

Казалось, что все измерения вдруг
Исчезли, пространства и времени нет,
При этом сознанием владел не испуг,
А чувство отсутствия зримых примет —

И зримых, и слышимых: нет ни земли,
Ни моря, ни неба, мы выпали, нас
Ни люди, ни птицы найти б не могли,
Но нам оставалась любовь про запас.

И мы, безусловно, прибегнули к ней.
Такого покоя, такой тишины
Не будет нигде. Ни о чем не жалея,
Не бойся. И Хельсинки нам не нужны.

Я вермута сделал глоток
И вкусом был тронут полынным.
Как будто, тоске поперек,
Я встретился с другом старинным.

Давно мы не виделись с ним,
И сцены менялись, и акты,
И он, — сколько лет, сколько зим! —
Спросил меня тихо: — Ну как ты?

Бокал я чуть-чуть наклонил
С полоской, идущей по краю,
Помедлил, еще раз отпил
И честно ответил: — Не знаю!

* * *

Оказывается, воспоминанье —
Напрасный труд: и лень, и ни к чему.
И странно было бы себе заданье
Такое дать, как если бы во тьму
Велеть зайти: забытая обида
Из тьмы всплывет или счастливый миг.
Не надо их! Покойся, Атлантида,
На дне, покрытый илом материк.

Дворцов, домов, камней осклизлых гряда,
С размытыми чернилами письмо...
Пусть, если что-то явится оттуда,
То не по принуждению, а само.
Великий дар, счастливый дар забвенья
В степи мирской — и Пушкин прав опять.
А я-то думал: надо впечатленья
Копить и чуть ли не нумеровать.

СИГНАГИ

Если я правильно помню, Сигнаги —
Это грузинский такой городок.
Мне показалось: немало отваги
Надо, чтоб жить в нем, — разверзлась у ног
Пропасть, по краю которой ходили
Местные жители.

Врубель бы им
Пририсовал черно-синие крылья,
Сном многогранным своим одержим.

Нынче я думаю: мне бы в Сигнаги
Стоило, может быть, съездить опять,
В горы — от плоскости невской и влаги,
Чтобы над пропастью той постоять
В блеске кремнистом ее, позолоте,
Рядом с ней яблоки зрели в саду,
И еще раз увидеть на подходе
К старости бездну прекрасную ту.

Никто не виноват,
Что облетает сад,
Что подмерзают лужи,
Что город мрачноват,
А дальше будет хуже.

Никто не виноват,
Что в Альпах камнепад,
В Японии — цунами,
Что плачут стар и млад
И страшно временами.

Никто не виноват,
Что есть смертельный яд,
Что торжествует зависть,
Что обречен Сократ.
Что пыль стирает запись.

Увы, такой расклад.
Никто не виноват,
Что ласточки над морем
Летят, куда хотят,
В сиянье и фаворе!

Что нам никто не рад
В созвездии Плеяд,
Что если б мы узнали,
Что кто-то виноват,
Счастливей бы не стали.

«С милого севера в сторону южную...»
Боже мой, как хорошо повторять
Эту строку, мне как будто ненужную,
Снова и снова, опять и опять.

Вот что такое стихи — умиление
И утешение, а почему? —
Не объясняй. Не хочу объяснения.
Дашь объясненье, а я не возьму.

Дверь распахну на веранде наружную,
Странников вечных увижу за ней.
«С милого севера в сторону южную...»
Нехотя, быстро, как можно скорей!

Так ветер куст приподнимал,
Такой клубился белый цвет,
Плеча касаясь моего,
Как если б Тютчев мне сказал:
Зайдите, будет только Фет
И вы, а больше никого.

Так в темноте белел жасмин,
Что полуночник, проходя,
Как в круг магический входил —
И жизнь без следствий и причин
Вдыхал, как вечность, обретя
Прилив счастливых, юных сил.

О чем мы будем говорить?
Что могут мне они сказать,
И что сказать смогу я им?
О двух столетях, может быть?
Зачем же так их огорчать?
И Тютчев скажет: помолчим.

ПОЛЕ В ПРИБЫТКОВЕ

Поле в Прибыткове было в люпинах
Синих, — казалось, мы едем вдоль моря,
Здесь и наяды должны быть в глубинах,
И Посейдон здесь поселится вскоре,
И хорошо бы спустить сюда лодку
С избами рядом, прогулочный катер.
Пусть живописец возьмет в обработку
Даль эту, шелк этот, синюю скатерть.

В сущности, дело не в сути, а в цвете,
Не рассуждение, а преображение
Лечит и жить помогает на свете,
Может быть, это и есть приближение
К главному смыслу среди горя и пыток
Наших телесных, душевных, — возможно,
Это и есть наша прибыль, прибыток,
Не обобщай, говори осторожно.

ЗАПУСТЕНИЕ

Были, были когда-то у нас на даче
И клубника, — возни с ней! — и с кабачками,
И капуста, и помнится цвет цыплячий
Огуречных цветов, их усы с крючками,
Завитушки и стрелы других посадок,
Серебристые щупальца и спирали...
Мой отец обожал на земле порядок
И усердье ценил — не любил печали.

Он вручал мне лопату, с его инфарктом
Ни копать, ни склоняться нельзя над грядкой.
Я старался, подстегнут его азартом,
Был рабочею силой, шутил: лошадкой,
А сейчас, в его возрасте, всё забросил,
Пробираюсь меж зарослями густыми.
Только яблони всё еще плодоносят,
Но давно нет приствольных кругов под ними.

Тень отца недовольна мной, бедный призрак
С офицерскою честью своей и долгом,
Не сердись на меня! Час свиданья близок,
Я чуть-чуть на пути задержался долгом,
Но люблю горчицвет, полевые травы,
Белопенную сныть, молочай, люпины,
Вытесняющие стариков по праву
Равнодушной природы, без скорбной мины.

Ко мне он не сходил с Синайской высоты,
И снизу я к нему не поднимался в гору.
Он говорил: смотри, я буду там, где ты
За письменным столом сидишь, откинув штору.
И он со мною был, и он смотрел на сад,
Клубящийся в окне, не говоря ни слова.
И я ему сказал, что он не виноват
Ни в чем, что жизнь сама угрюма и сурова.

Но в солнечных лучах меняется она —
И взгляд не отвести от ясеновой кроны,
Что в мире есть любовь, что в море есть волна,
Мне нравятся ее накаты и наклоны.

Еще я говорил, что страшен меч и мор,
Что ужаса и зла не заслонят листочки,
Но радуют стихи и тихий разговор,
Что вместе люди злы, добры — поодиночке,
Что чудом может стать простой стакан воды,
Что есть любимый труд и сладко пахнет липа,
Что вечно жить нельзя, что счастье без беды
Сплошным не может быть, и он сказал: спасибо.

ШУМ

Березы нервно шелестят;
Осины — вообще панически;
Дуб — еле-еле, мрачноват;
А клен шумит меланхолично;
А белый тополь громче всех,
Я так люблю его кипение,
Наружу вывернутый мех;
А ива вся — недоумение:
Как можно плачущую так
Еще клонить, еще раскачивать?
А сосны сухо, кое-как;
А ели пасмурно и вкрадчиво;
Еще ольха — невнятный звук,
Тихоня, скучная попугайца.
Теперь сложи всё это вдруг —
И ты услышишь, что получится.

Леса у Толстого в романе не знали
Под Пензою где-нибудь, сосны да ели,
Что замуж их вместе с Жюли выдавали, —
Дичась, за спиной ее глухо шумели.

Вечерних лучей расплескав позолоту,
На них предзакатное солнце глядело.
Они бы восприняли брак по расчету
Как самое странное, дикое дело.

Откуда им знать, шевеля паутиной,
Волчицу с волчонком держа на примете,
Что тень их дымится в московской гостиной
На шелковых креслах, на скользком паркете?

Ни слова о том, как закатное пламя
Горит на верхушках, мы тоже не скажем,
Но эти леса ощущаются нами
Застенчивым, скрытым от глаз персонажем.

Арону Зинштейну

Художник работает быстро, быстрее меня.
Ему для портрета достаточно часа — и чудно!
И было мне видно подобие то ли огня,
Горевшего в нем, то ли мысли, владевшей подспудно
Им и заставляющей руку, державшую кисть,
Летать, замирать, как пчела над жасмином кружиться.
Не есть, не жевать и, уж точно, зубами не грызть,
Вбирать безошибочно радость, а не копошиться.

Я видел холста оборотную сторону, мне
Была не видна, потерпи, сторона лицевая.
Но я, мне казалось, на том же сгораю огне,
Любя эту жизнь и художнику тем помогая,
И как не любить, даже муки и ужас терпя?
Да здравствуют пчелы! Искусство и есть садоводство.
Портрет получился. Я мало похож на себя.
Но горечь, но радость! А радость важнее, чем сходство.

Электронконтроль, приходивший на дачу, —
Суровая женщина нас проверяла,
Но я аккуратен и взгляда не прячу,
Нам счетчик на новый сменить приказала,
Какой? — двухтарифный. Такую задачу
Поставила твердо, он стоит немало.

Ушла, а на столике ручку забыла,
Дешевую, с черным внутри капилляром,
Прозрачную, новую, что ж, очень мило!
Сначала я пренебрегал этим даром,
Но склонность я к черным питаю чернилам
И, можно сказать, к канцелярским товарам.

И вот я пишу ею. Жесткая ручка,
Привыкшая к цифрам и строгим подсчетам,
Теперь привыкает к моим закорючкам
И строчкам — и не возражает, чего там!
Не к сметам, а к рифмам, не к суммам, а к тучкам,
И втайне довольна таким поворотом.

МОЛНИЯ

Сверкнула молния — ее придумал Зевс.
Застежку-молнию кто изобрел, — не знаю.
И, разумеется, из этих двух чудес
Я ценность высшую, как все, предпочитаю.

Сверкай, сокровище и честь небесных сфер,
Мы содргаемся при громовом раскате.
Но как бы молнии-застежке был Гомер
Рад! И, наверное, блеснула б в «Илиаде»!

НОВЫЕ ОКНА

Теперь не форточка, теперь окно на треть
У нас откинута внутрь комнаты под острым
Углом — и холодно под ним зимой сидеть.
Ни пакли нет теперь, ни ваты — всё так просто.

Ты в ногу с временем идешь, ты не отстал
И консерватором тебя считать нет смысла.
Стекло наклонное похоже на кристалл,
Как грань кристальная, оно, кренясь, нависло.

И замечательно, что рамы нет второй,
И вспомнишь старые стихи про раму эту,
Как выставляется она весной, весной!
Спасибо Майкову! (А ты подумал: Фету?)

Другой сквозь форточку, взывая к детворе,
Какое, спрашивал, у нас тысячелетье?
Нет больше форточки. А мальчик во дворе
Еще подумает чуть-чуть и скажет: третье!

А вы поэт какого века?
Подумав, я сказал, что прошлого.
Он пострашнее печенег,
Но, может быть, в нем меньше пошлого.

И, приглядевшись к новым ценникам,
Шагну под сень того сельмага,
Где стану младшим современником
Ахматовой и Пастернака.

Там проработки и гонения.
Но если вы стихом живете,
Вот счастье — том «Стихотворения»
В Худлите, в твердом переплете!

Как я читал его! С курсивами
Его заглавий голубыми,
Дождя лиловыми наплывами.
Воротничками пристежными.

Был век поэзии и живописи,
Был век кино довольно долго.
Всё это станет вроде кинописи
Или кумранского осколка.

Был век внимательного чтения.
И относительно невинна
Была, в порядке исключения,
Его вторая половина.

С меня и взятки гладки. По лесу
Брожу; в сосновом и еловом
Стою; я хорошо устроился
В тени, одной ногою — в новом.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Мечты о бессмертье тем более странны,
Что умерли все, даже вечные боги,
Имевшие столь грандиозные планы,
Внушавшие столь вдохновенные строки,
Умевшие на море вызвать волнение,
Корабль потопить, если он почему-то
Не нравился им, предоставив спасенье
Всего одному из команды, как чудо.

Мечты о бессмертье тем более дики,
Что выцвело, высохло, вымерло столько
Воистину славных и вправду великих,
Дойдя в виде торса до нас и обломка,
И трудно им встать с каменистого ложа,
Уйти от душицы и чертополоха,
Бессмертию может быть тоже положен
Предел — и, наверное, это неплохо!

2

— Как страшно подумать, — сказал я на зное
Июньском, — подумать, — сказал, — о зиме!
— А ты и не думай! — сказала, за мною
Идя по заросшей травой колее.

— Не думай, — сказала, — смотри на фиалки,
Еще, синеглазые, не отцвели!
Они ж не растут, не цветут из-под палки,
Им нравится быть украшеньем земли.

Они же не портят себе настроенье.
Какая зима? Не бывает зимы!
Смерть тоже ошибка, недоразуменье,
Обмолвка... Запомнить бы это мгновенье:
Однажды бессмертными были и мы.

III

Надо было любить революцию,
Надо было ей душу отдать.
Надо было марксизм, как инструкцию,
Не прочесть, но в руках подержать.

Надо было отдать вдохновение
Ей, квартиру, тем более — дом.
И тепло, и любимое чтение
В жертву ей принести, и диплом.

Надо было смириться со злобою
И плевками, пройти через тиф,
Надо было проститься с Европою,
Равнодушия ей не простив.

Хорошо, что успел во Флоренции
Побывать любопытный студент,
И послушать немецкие лекции,
И сыграть «Музыкальный момент».

Надо было смириться с частушками
И, в Чека угодив как-нибудь,
Встретить давнего друга с веснушками,
Чтобы он отпустил тебя: «Будь!».

Надо было искусство и жречество
Развенчать, как собрат-горлопан,
Надо было спасать человечество —
Этот шанс был историей дан.

Ну а мы... Но из стужи и замяти
Он сказал бы нам в гиблом снегу:
«Ничего-то вы не понимаете,
Празднословы, терпеть не могу!»

Надо было с подругой, с приятелем
Разделить эту корку и тьму.
Это образ — и он собирательный,
Имена подставлять ни к чему.

Надо было бежать через Турцию —
Не бежал: надо верить и «быть».
Надо было любить революцию —
И любил ее, как не любить?

«Остались детали», — Кузмин говорил Юркуну
В больнице, когда навестил его друг перед смертью.
А если б не умер, не знаю, простил бы страну,
Способную к самому лютому жестокосердью?

На том же проспекте попал бы в застенок глухой
В начале Литейного, а не лежал бы в больнице.
Тогда и последняя фраза была бы другой,
И кто б рассказал нам о ней, неужели убийцы?

Люблю Кузмина, обойденного славой. Знаток
В «Сетях» и «Форели» расслышит любовь и смиренье.
В стихах его Гринок — шотландский мелькнул городок,
Но он не уехал в Шотландию — нам в утешенье.

Никто не бессмертен. Подумай, как нам повезло:
В палате, при клене, в окне шелестящем на воле!
«Остались детали» — не самое страшное зло.
Спасибо скажи Кузмину, как учителю в школе.

...Не жаловаться, цыц!
О. Мандельштам

«Не жаловаться, цыц!» Смешно, но справедливо.
Среди морей, лесов, фонтанов и больниц,
Среди скорбей, смертей, восторга и надрыва
И шелеста листвы — не жаловаться, цыц!

Среди большой страны, захваченной идеей
И погубившей тьму людей из-за нее,
Тем более — потом расставшейся с затеей,
Но возлюбившей вдруг наживу и жулье, —

Не жаловаться, цыц! А в двадцать первом веке
Пора понять, умом окинув все века,
Что взгляд, минуя их, опять упрется в реки
И ласточка его прельстит издалека.

На север к нам — с весной: наскучила ей Ницца,
А есть еще стихи, смущенно со страниц
Глядящие на нас, и музыка стыдится
Внушенных ею слез. Не жаловаться, цыц!

Цель поэзии — поэзия.

Пушкин

А если бы к власти Рылеев пришел
С Бестужевым, — русской растрепанной музе
Пришлось бы несладко, так был бы тяжел
Гнет: видишь ли, в их аскетическом вкусе —
Сатиры да оды во славу труда
На благо отечества, им и «Онегин»
Не нравился: всё это блажь, ерунда,
Потворство любви и лирической неге.

Неужто, писал он, в стихах не стихи
Важны? Что же важно, он спрашивал, проза?
Они б отделили смысл от шелухи,
Нашли бы ответ для такого вопроса,
А женские ножки, а в книге цветок
Засохший, тем более — странная прихоть
Скитаться... «Пророк». И еще раз «Пророк».
Еще и еще раз «Пророк». И не хныкать!

Не жалею о том, что я жил при советской власти,
Потому что я прожил две жизни, а не одну,
И свободною тайной был счастлив, и это счастье
Не в длину простиралось, а исподволь, в глубину.

Было горестно, больно, но не было одиноко.
Понимал с полуслова, кто друг мне, а кто чужой.
И последнее стихотворенье больного Блока,
Пусть не лучшее, Пушкину верило всей душой.

И воистину в сумрак февральский, в слепую вьюгу,
А январская лютая власть к той поре прошла,
Мне как будто сквозь сумрак протягивал кто-то руку,
И вставала заря, и сирень впереди цвела.

И сирень зацвела, и воистину солнце встало,
Обновленную жизнью задарен я был второй,
И увидел Париж, и не то чтобы зла не стало,
Просто облик его — слепок с пошлости мировой.

А потом обступило нас третье тысячелетье,
Что-то в нем не заладилось, словно огонь потух.
Мне бы радоваться: это жизнь мне досталась третья!
Кто сказал, что она быть должна лучше первых двух?

Андрею Смирнову

Шел дождь, шел снег, всё шел и шел.
Метафорический глагол!
Шло время, шла дорога,
Шла жизнь — и шаг ее тяжел,
Шли письма, шла подмога.

Шла карта, — жаль бросать игру!
Шли месяцы, шли годы,
В туннель вползая, как в нору,
Шел поезд, обогнув Куру,
Шло платье, шли народы.

Довольно! — скажешь, но вдали
По краю неба тучи шли,
На странников похожи.
Шел пир, шла ночь, шли корабли,
Шел разговор в прихожей.

Шли танки строим, тяжело.
Шла пьеса, с юга шло тепло,
Прошла молва, досада.
И мы, когда на то пошло,
Шли тихо мимо сада!

ОСТАНОВКА

Стоянка поезда — одна минута, мало!
Так мы подумали, на самом деле — много!
Прощай, Окуловка! Ты в зарослях застряла,
Пересекла тебя железная дорога.

Никто в Окуловке, лишь женщина с ребенком
Одна из поезда навстречу ветру вышла.
Встречал ли кто ее? Не разглядел я толком.
Встречал, наверное. Листва клубилась пышно.

Виднелись низкие какие-то строенья
Пристанционные: бетон, кирпич, известка.
Прости, Окуловка: плохое настроение.
Всё как-то смутно здесь, затеряно и плоско.

Куда в Окуловке, налево ли, направо
Пойти отраднее? И стыдно почему-то.
И эту женщину я не имею права
Жалеть. И вообще одна всего минута!

Было время понять, что шахтеры —
Испытатели гибели скорой,
Самой скорой и взрывчатой здесь,
А не гонщики, не матадоры,
Чья повадка — рисовка и спесь.

Было время понять, что саперы,
Кровельщики, электромонтеры
И бухгалтер, отчет годовой
Составляя, и «помощи скорой»
Врач — рискуют своей головой.

Было время понять, что поэта
Жизнь не горше, не слаще, чем эта:
Так же ствол ее плодоносящ,
Если только она не либретто
С себялюбцем, укутанным в плащ.

Елене Смирновой

Мне делать нечего — и я ворон считаю.
На голем ясене я насчитал их семь.
Сидели порознь семь ворон, я видел стаю,
Но стаю странную, в которой скучно всем.

Смотрели кто куда, не глядя друг на друга.
Они поссорились, из-за чего? Как знать?
Быть может, так на них подействовала вьюга,
Иль вьюгу новую предвидели опять.

Смотрели сумрачно, как ветер снег сдувает
С ветвей, предчувствуя: вот-вот повалит вьюгу.
Беда не сплачивает, а разъединяет.
И дружба — выдумка, и вымысел — любовь.

Они расстались бы, да некуда податься.
Сидят, одна другой нисколько не нужна.
И вовсе незачем друг к другу прижиматься.
Я так не думаю, мне эта мысль страшна.

* * *

Разве в шестьдесят шестом сонете
Всё уже не сказано, что надо
Было бы сказать на этом свете?
Пристальнее и не вспомнить взгляда
На земные тени и пороки,
Трещины и смертные изъяны.
Помолчи. На тополь у дороги
Посмотри, на рощи и поляны.

Ничего другого и нельзя ведь
Предложить, и кажется порою,
Что они могли бы нас исправить:
Этот куст и речка под горою.
Шмель гудит, — спасибо божьей твари,
Горицвет изящен, ты согласен?
Почему, при всём его кошмаре,
Этот мир на солнце так прекрасен?

* * *

Говоришь, пустяк. Но так устроены
Мы, что мелочь сбить нас может с толку.
Чьим-то словом мы обеспокоены
Или чью-то вспомним недомолвку.

В очереди нас толкнула женщина
И не извинилась почему-то.
Показалось или померещилось,
Странная нашла на сердце смута.

Заметался голубь под колесами
И пятном распластанным остался.
Говоришь, что надо быть философом.
Мир не рухнул, космос не взорвался.

Но и Кант на лекции стал хмуриться
И сбиваться с мысли то и дело,
Потому что у студента пуговица
Кое-как на ниточке висела.

* * *

Сегодня солнечно и ветрено,
Бушует дуб, клубится вяз.
«Страдания молодого Вертера»
Наполеон читал семь раз!

В саду у нас и ели с пихтами
Растут, стремясь под облака.
Возил его в ботфорт запахнутым
Или в кармане сюртука.

Сирень с лоснящимися скулами
Морской напоминает вал.
Как храбро вел себя под пулями
И как в изгнание увядал!

Напрасно скалы придвигаются
И соблазняет пистолет:
Из-за любви и впрямь стреляются,
А из-за Ватерлоо — нет!

* * *

Не было б места ни страху, ни злобе,
Все б нам простились грехи,
Если бы там, за границей, в Европе,
Русские знали стихи.

Если б прочесть их по-русски сумели,
То говорили бы так:
Лермонтов снился в походной шинели
Мне, а потом — Пастернак!

Знаете, танки, подводные лодки,
Авианосцы не в счет.
Фет мимо рощи проехал в пролетке,
Блок постоял у ворот.

Май в самом деле бывает жестоким,
Гибельной белая ночь.
Разумом не остудить эти строки,
Временем не превозмочь.

Есть разница между метелью и вьюгой,
Но как объяснить ее? Я бы не мог.
Одна закруглить постарается угол,
Другая повыше поднять завиток.

Метель нас плетью обвивает тугими,
И вьюга прерывистым делает шаг,
И разницу чувствуем мы между ними,
Но определить не беремся никак.

И так ли им надо, чтоб их различали,
И снег, словно маска, лежит на лице.
Ну разве что к мягкому знаку в начале
Одна обратилась, другая — в конце.

А гость, перед дверью снимая ушанку
И плечи охлопав себе и бока,
Дымится, вокруг себя белую манку
Рассыпав, и нам объясняет: пурга!

По-русски придерживать шарф подбородком,
Толчками проталкивать руку в рукав
И вниз по ступеням в смирении кротком
Спускаться, заранее ворот подняв.

Позвольте, а разве француз надевает
И шарф, и пальто по-другому, не так?
Не так! Он на шею свой шарф наматывает,
В пальто проникая, одернет пиджак.

Другая погода — другие ужимки,
Ухватки. У них Ренуар и Дега,
Ну ветер, ну дождик, быть может, снежинки.
Толстой и Некрасов у нас, и снега.

Как вы там в Испании своей в снегах живете,
Как в метелях Франции справляетесь с зимой?
Мы по телевизору вас в снежном переплете
Видели, в густом сугробе чуть не с головой.

Вы на скользкой наледи неловко тормозили,
Заносило в сторону ваш синий кадиллак.
Вот когда, наверное, подумать о России
Вы могли, понять ее: у нас полгода так.

Лбом к стеклу замерзшему напрасно приникая:
Ничего ж не видно за кружащимся снежком!
И у вас история была б совсем другая:
Пугачев с Отрепьевым — и пионер с флажком.

О, бураны белые — и никакой лазури!
В Воркуту плетущийся товарный эшелон,
О котором знать могла Долорес Ибаррури,
Думаю, что знала, и товарищ Арагон.

Если бы у нас дожди почаще моросили,
Был бы и в Москве Людовик, а не царь Иван.
Что это пишу я, как «Клеветникам России»,
Вздор какой, с обидой и бравадой пополам!

Где волны кроткие Тавриду омывают...
К. Батюшков

Конечно, русский Крым, с прибором под скалою,
С простором голубым и маленькой горою,
Лежащей, как медведь, под берегом крутым.
Конечно, русский Крым, со строчкой стиховую,
И парус на волне, и пароходный дым.

Конечно, русский Крым. Михайлов и Праскухин,
Кого из них убьют в смертельной заварухе?
Но прежде чем упасть, — вся жизнь пройдет пред ним,
Любовь его и долг невыплаченный, — глухи
И немые, кто убит. Конечно, русский Крым.

И в ялтинском саду скучающая дама
С собачкой. Подойти? Нехорошо так прямо.
Собачку поманить, а дальше поглядим...
Случайная скамья, морская панорама,
Истошный крик цикад. Конечно, русский Крым.

Конечно, Манделъштам, полынь и асфодели.
И мы с тобой не раз бывали в Коктебеле,
И помнит Карадаг, как нами он любим
На зное золотом. Неужто охладели
Мы, выбились из сил? Конечно, русский Крым.

Плачет старик у разбитой стены,
Рваный кирпич, да бетон, да известка...
Лучше быть птицей во время войны:
Дом ей не нужен, и спать ей не жестко.

Ей, пережившей взрывную волну,
Клен простодушные сны навевает.
А захотела — в другую страну
Переселилась: деревьев хватает!

Вот показали картинку опять:
Мальчик бинты поправляет на шее...
Лучше стихи вообще не писать.
Каркать, качаясь на ветке, — честнее.

IV

Гертруда
Вот он идет печально с книгой, бедный...
Шекспир

Какую книгу он читал, об этом
Нам не сказал Шекспир — и мы не знаем.
Читал! При том что сцена грозным светом
Была в то время залита; за краем
Земного мира тоже было мрачно,
Там бледный призрак требовал отмщенья.
И все же — с книгой, с книгой! Как удачно,
Что мы его застали в то мгновенье.

А в чем еще найти он утешенье,
Мог, если все так гибельно и дико?
И нам везло, и нас спасало чтение,
И нас в беде поддерживала книга!
Уйти отсюда в вымысел заветный
Хотя б на час, в другую обстановку.
«Вот он идет печально с книгой, бедный»,
Безумье отложив и маскировку.

* * *

В тот час, когда убьют Меркуцио
И на дворе начнет смеркаться, —
Какая чудная конструкция
Двух фраз, никак с ней не расстаться,
Хотя она вполне бессмысленна,
И у Шекспира всё иначе,
И к бреду может быть причислена
В жару июльскую на даче.

В тот час, когда пришьют Полония
И полночь всё собой заполнит, —
Какая сила посторонняя
Мне эту сцену вдруг напомнит,
Хотя и здесь переиначена
Суть и совсем не к месту жалость, —
Зато фонетикой всё схвачено,
«А жить так мало оставалось...».

ГРАД

С чем бы град сравнить? Не знаю.
Уж не с жемчугом ли, град
Белый — руку подставляю —
Он еще голубоват,
Дымчат, хрупок и лоснится,
И особенно в траве
Хочет знаньем поделиться
О нездешней синеве.

Это жизни обновленье, —
Слишком мы привыкли к ней.
Белых шариков скопленье
Под кустами меж корней.
Ведь и в самом деле редкий
Гость, внезапный, раз в году.
Разжую две-три таблетки —
Станет холодно во рту.

Ледяное покрывало
Будет таять, оплывать.
Я хочу, чтоб ты сказала,
Что не надо унывать:
Это нам подарок с неба, —
Отогнав рукой орла,
Бусы ветренная Геба
В ссоре с Зевсом порвала.

Дмитрию Чекалову

Ты море носишь теперь в кармане,
Оно колышется на экране,
Когда захочешь, оно шумит,
Переливается, как в стакане,
И на пол вылиться норовит,
Но не прольется. В его тумане
Белеет парус — волшебный вид!

Его ты пальцем подвинешь справа
Налево, пена пышна, курчава,
Шуршанье гальки, волны накат.
Такая маленькая забава
В руках, как зеркальце, — виноват,
Как жезл монарший или держава,
Не помню точно: айфон, айпад?

Ни жить, ни чувствовать по старинке
Нельзя, — такие теперь новинки
На фоне бедных былых веков!
Любые улочки и тропинки
Доступны, выступы облаков
И замков, — походя, без заминки,
В обход мольберта, взамен стихов!

Евгению Кушнеру

Мадонна, конечно, была итальянка,
Голландка, смотри Рафаэля, ван Эйка:
Какая прическа, какая осанка
И плечи... уж точно она не еврейка!

Какой соблазнительный вырез на платье,
Чтоб видели шею, — большой, полукруглый!
А если не в поле, а дома, то кстати
И пол мозаичный, и угол не углый,

Не бедный, не темный, и тут же колонны
Дворцовые и вообще балюстрада,
А за балюстрадой пейзаж отдаленный,
И шпили, и башни, морская прохлада.

А Мемлинг представил такой белокожей
Ее и в таком безупречном наряде,
И жемчуг мерцает, и даль, и прохожий
В витражном окне за плечом ее, сзади.

Она ли, печалась за всех и радея,
Спасает несчастных, жалеет голодных?
А та, что в убогой жила Иудее,
Себя узнаёт ли на чудных полотнах?

Композитор Вентейль ставил ноты в романе Пруста
На пюпитр в ожиданье гостей: вдруг они сыграть
Его что-нибудь всё же попросят? Как это грустно!
Не попросят. Он гений. Откуда им это знать?

Он волшебник. В Париже уже и сейчас сонату
Знатоки его ценят: умрет — будет жить в веках.
А пока пусть он музыке учит детей, по саду
Бродит или беседует с гостем о пустяках.

И такой вариант, вообще говоря, не редкость.
Не одно, можно несколько славных имен назвать.
Помогает успеху столичность, а также светскость.
А сочувствие, вспомни, дается как благодать.

Этот мир так огромен — и в эту его огромность
Вплетена, словно нить, чья-то вьющаяся тропа.
А еще есть особое свойство такое: скромность.
А другое название ему, может быть, судьба.

АРЛЬСКИЕ ДАМЫ

Арльские дамы, у них и на шали узор
В мелкий цветочек, у них и в руках по букету.
Ну и на клумбах такой же счастливый набор
Ярких цветов, ни пышней, ни пестрей его нету.

Так почему ж эти арльские дамы мрачны?
Так почему же цветы их не радуют эти?
Словно их мучает темное чувство вины,
Словно, горюя, они за Ван Гога в ответе.

Желтый, карминный, оранжевый, розовый цвет.
Ах, и дорожки извиристо-мягки, не прямы.
Он же для вас легкомысленный выбрал сюжет,
Что ж вы его так подводите, арльские дамы?

...Не просишь ни о чем, не должен никому...

М. Ломоносов

Учитель, врач, механик, офицер,
Садовник... Есть с кого нам брать пример
Достоинства, и скромности, и чести.
Не надо обольщений и химер,
А также поклонения и лести.

И слава — дым, не стоит жить в дыму.
Мирская власть ни сердцу, ни уму
Не служит, и в богатстве счастья нету.
Зато и впрямь не должен никому
Кузнечик, — как люблю я фразу эту!

Земная жизнь... Среди ее даров
Один из лучших — стройный лад стихов.
Не заносись! Ты скромным занят делом.
И хорошо бы съездить в Петергоф
И побродить по травам запотелым...

Памяти Вадима Шефнера

— Саша! — он мне говорил, позвонив однажды,
Было ему лет за восемьдесят уже, —
Саша! — И каждое слово, с заминкой каждой,
Врезалось в память, оставив свой след в душе:

— Саша, я вот что хотел вам сказать, другому
Я не сказал бы, а вам, дорогой, скажу:
Жизнь замечательна! Вот я хожу по дому,
Радуюсь, сяду за стол — и в окно гляжу.

Чудо какое, не правда ли, вы согласны?
Ни одного нет на свете пустого дня.
Клены шумят, и оправданы все соблазны.
Мой дорогой, понимаете вы меня?

Я потому и звоню вам сказать об этом,
Что понимаете.

— Да, — я ответил, — да!

Вскоре он умер. Предсмертным его приветом
Страх посрамлен и подсвечена темнота.

СОН

Подошел в темноте, протянул мне руку,
На ночном поздоровались сквозняке.
Помолчали. Пожаловался на скуку.
Постояли с минуту, как в столбняке.
Отошел. Я во сне потянулся к другу:
Свою руку забыл он в моей руке.

Оглянись! Я не знаю, что делать с нею.
Страх меня охватил, сотрясает дрожь.
Остываю и, кажется, каменею.
Почему ты на статую так похож?
Что там сделали с вечной душой твоею?
Ты загадки мне страшные задаешь!

Сегодня в гостях у меня побывало
Не менее ста человек.
Я школьным друзьям предоставил сначала
Надежный и мирный ночлег.

Потом институтским, потом, без разбора,
Знакомцы, подружки пошли,
Обрывки ненужного мне разговора
И оклики из-под земли.

Кто тихий, кто шумный, кто бледный, кто смуглый,
Кто жив, кто ушел за предел,
И каждого я, как тряпичную куклу,
В руках подержал, повертел.

У той на лице почему-то гримаса
Уныния, хоть не смотри,
А этот зачем мне? Всего-то два раза
Я видел его или три.

Полночное царство, подпольная сходка,
Безумье, сдавившее грудь.
И всё это вместо того, чтобы кротко
И сразу блаженно уснуть!

Кого бы с полки взять? Всех знаю наизусть.
Не Лермонтова же, не Пушкина, не Блока...
Мрачнеет Мандельштам. Обиделся? И пусть.
А может быть, он рад, что потускнел немного,
Как Тютчев или Фет, — и значит, что ничем
Теперь не хуже их и, скажем, Пастернака.
Я сам себе чуть-чуть смешон и надоем
В топтании своем, средь сна и полумрака;
В рассеянье рука потянется опять
К кому-нибудь из них: не к Кузмину ли? — мимо.
Задумаюсь, вздохну: мне нечего читать!
И в Анненском всё так знакомо и любимо!
И я гляжу в окно, и я тянусь к местам,
Укутанным во тьму, с подсветкою по краю:
Ах, может быть, у них за это время там
Написаны стихи, которых я не знаю?

V

Мне нравится тот миг, когда на кораблях
Спускают флаг — и то сказать: во тьме не видно,
Какого цвета он, все — черные впотьмах,
И ни одной стране нисколько не обидно,
И можно в темноте датчанина принять
За немца, например, а немца — за француза.
Страна родная днем придвинется опять,
А ночь убеждена, что родина — обуза.

Кораблик белый, двухмачтóвый
Моторный, парусный, пристать
К любому берегу готовый,
Увижу в сумерках опять.

Он выбрал самый каменистый,
Скалистый склон необжитой, —
Такие любят пейзажисты,
Пленясь дикой красотой.

А может быть, им облюбован
Тот дикий берег потому,
Что в людях он разочарован
И век не нравится ему?

И политические игры
С политкорректностью слепой,
И артефакты, и верлибры,
И музыкальный сухостой.

Уснут безумцы и деляги,
Погаснут Запад и Восток...
И как звезда, всю ночь во мраке
Его мерцает огонек.

Помнишь, раньше ласточки летали
Здесь, над морем, а теперь их нет.
Склон другой горы облюбовали?
Им не нужен пирс и парапет.

Интересно, в чью пришла головку
Эта мысль, неужто сразу всем?
Обсудили дружно обстановку,
Расскажу подробно — надоем.

Та гора лесиста и бесхозна,
А под этой шум и толчея.
Ничего, сошьем другие гнезда!
Та гора безлюдная, ничья.

Десять — за, а та, что воздержалась,
Может быть, подумав обо мне, —
Улетела тоже, не осталась,
Но теперь скучает в тишине.

Море ходит здесь по потолку.
Я забыл задернуть занавеску,
Блик за бликом, словно на бегу,
Впопыхах рисуют арабеску,
Разгадать легко ее могу,
Переливам радуясь и блеску.

Обещанье солнечного дня,
Предложенье райского блаженства.
И никто при этом от меня
Добрых дел не ждет и совершенства.
Хорошо морская простыня
Постлана, — спасибо, турагентство!

В прошлом веке кто-то, говорят,
Кажется, Бердяев, выступая,
Зачитал собравшимся доклад
И назвал его «Проблема рая».
Лучше б в море он зашел, как в сад,
Волны, словно ветви, раздвигая.

Беглец Италии, Жьячинто, дядька мой...
Боратынский

Лежать ли в ящике, засыпанном землей,
На метра полтора уйдя в могильный слой,
Иль, в пепел превратясь, в вазоподобной урне,
Как греческий поэт, пастух или герой, —
Не все равно ли где, хоть в лавре, хоть в Ливурне.

Когда корабль сквозь мрак, сквозь жизни шум и гам
Подходит наконец к нездешним берегам,
О выгоде смешно заботиться последней,
Ее и нет, отдать метелям и снегам
Себя или цветам в изнеженности летней.

И в помощь мне даны не звон колоколов,
Не тягостный обряд и пение псалмов,
Не вечный блеск звезды или протуберанца,
Которым дела нет до скромных мертвецов,
А тихие стихи про дядьку-итальянца.

* * *

Не в том беда, что мысль, а в том беда, что слово.
Насколько ж кисть, орган счастливей и резец!
Стихам не обойтись без языка родного,
На языке чужом стих жалок, как мертвец,
А если даже он и дышит, то иначе,
И разевает рот, как рыба на песке.
Звучание стиха, — оно-то всё и значит,
Смысл гаснет без него, заходится в тоске.

Быть может, потому поэту и родная
Страна дороже всех: его бессмертье — в ней,
И как бы ни была свободнее чужая,
Сговорчивей, к морям припавшая, теплой,
Ему своей страны необходима участь
Счастливая, никто не озабочен так
Спасением ее, как он, и верит в случай,
В стихах своих всю жизнь преодолая мрак.

* * *

Нет утешенья, оправданья, прощенья ужасам земным,
Но есть глубокое молчанье, и мы его не предадим,
Не разменяем на унынье и малодушные слова.
Есть небосвод над нами синий и благосклонная листва.
Они ни в чем не виноваты, к ним и на кладбище готов,
Преодолая боль утраты, прильнуть. Слова? Не надо слов.
И пустословье суетливо, и обольщенье ни к чему.
Стихотворенье молчаливо. Прочти, прислушавшись к нему.

* * *

Посмотрев на дела отца, неужели сын
Не смутился, увидев всех этих слепых, убогих,
Не подумал, за что они терпят — и ни один
Не возропщет, но кланяться будет пришельцу в ноги:
Вдруг он вылечит? Он и лечил их, а что ж отец,
Почему от рожденья слепой должен быть незрячим
И не видеть ни облачка в небе, ни тех овец,
Что похожи на облачко? Смотрим на них — и плачем.

Почему не заплакал? Не задал простой вопрос,
В чем они провинились, безногие и хромые?
Можно ли проповедовать, требовать в царстве слез
Исполнения заповедей? А еще немые,
А еще бесноватые... Крестных трехдневных мук,
Может быть, маловато ввиду повседневной муки?
Не учить, а учиться у них! Это всё, мой друг,
Говорю я в слезах, — не из прихоти или скуки.

* * *

Рембрандт Харменс ван Рейн сам себе наскучил:
Сколько можно смотреть на царя Давида
И несчастного Урию? Темный случай,
Ветхий мрак, непростительная обида.

Он ушел бы куда-нибудь из музея,
Чтобы красно-багрового цвета горе
Отпустило его. Тяжела затея.
Знает Урия, что он погибнет вскоре.

И поэтому Рембрандт забыть обоих
Был бы рад, да нельзя: написал их слишком
Хорошо. Где-то облачно-голубое
Небо есть: как нужна ему передышка!

Выйти б на полчаса из густого мрака,
Петербургские башни увидеть, шпили,
Да не в силах он в сторону сделать шага,
Так они ненавидели и любили!

VI

Я читал об идее бессмертия у этрусков,
Эволюции их представления о загробной
Жизни, как постепенно из солнечной стала тусклой,
Стала мрачной, безрадостной и нежизнеспособной.

А сначала на стенах гробницы пиры писали
Желтой краской и красной в саду, под открытым небом,
Или танцы под музыку — и никакой печали,
И еще кладовые там были с вином и хлебом.

И домашняя утварь, включавшая стол и кресло,
И скамеечка рядом для ног — надо жить комфортно!
А потом это все, к сожалению, ушло, исчезло,
Все, что так примиряло с гробницею, было стерто.

Никаких развлечений и танцев на фоне сада,
Только в траурном шествии вдаль потянулись тени.
Может быть, что-то поняли? Может быть, так и надо?
Без цветочков и птиц, без иллюзий и утешений.

Прошла собака — и следы
От лап остались на бетоне
Сыром — теперь их видишь ты
На плитах, словно на ладони.

Не знаю, есть ли мир иной?
Смотри, как незамысловато
Ее бессмертье! В летний зной
Тащилась нехотя куда-то

Или бежала со всех ног,
И каждой лапы отпечаток
Похож на высохший цветок, —
Такой нечаянный остаток.

* * *

Ребенку нравится, что на земле живут
Не только люди, — кошки тоже.
Собаки, голуби, вороны тут как тут,
А в зоопарк его однажды приведут, —
Ах, зебры, как они на вымысел похожи!

Ребенку кажется, что он — один из них,
Хвостатых, сумчатых, крылатых, полосатых,
Зубастых, в войлочных нарядах, в шерстяных,
Он видит родственников в них, друзей своих,
А не отверженных, судьбой в тиски зажатых.

В их равноправие с ним свято верит он,
Что уважения они достойны, ласки
И не глупей его. Смотри, как важен слон!
А волк у проруби лисицей посрамлен,
И все — участники одной волшебной сказки.

* * *

Оделся, вышел на мороз
Январской ночью. Не спалось.
Поселок дачный льдом оброс
И вместе с ним — земная ось.

И в снежном бархате, в шелку
Была такая красота!
И вдруг увидел на снегу
Чужого белого кота.

Не испугался кот ничуть,
Сидел, уйти не захотел,
Во все глаза на Млечный Путь,
На звезды пышные глядел.

Не отступил, не отбежал,
Как будто звездный видел сон
И человека приглашал
Смотреть на них, как смотрит он.

Слониха топталась одною ногой
На тумбе, похожей на стул винтовой,
Из тех, что стоят при концертном рояле,
Другие же ноги, как ветви, торчали,
Над желтой ареной, и хобот трубой.

Слониха вздымалась, похожа на дуб.
И жизнь, даже если кому-то наскуча,
Казалась ненужной, он видел, что глуп, —
Так эта слониха умна и могуча
И накрепко ввинчена в жизнь, как шуруп.

И многому может его научить:
Смиренью, терпенью, любви к дрессировке,
А главное, можно ли жизнь не любить,
Когда цирковые слониhi так ловки:
Солидная стойкость и детская прыть!

У Коробочки в комнате были картинки с птицами
И меж ними портрет Кутузова, — что за бред!
Что за прелесть! Ну, Гоголь! С затейниками, тупицами,
Хитрецами, которых хитрей в целом мире нет.

И когда, например, говорит у него Коробочка:
«Что за странный товар, лучше я вам пеньку продам!» —
Хочется посмотреть за окно и увидеть облачко
Или дерево, так эти двое противны нам.

Неприятны, противны, и все-таки даже весело,
Потому что смешно. Потому что глупа она,
Но хитра. И как будто однажды вселился бес в него.
И чуть-чуть страшновато. Но жизнь вообще страшна.

Если бы ты, дорогой мой, придумал скрепку,
Если не скрепку, придумал хотя бы кнопку,
Кнопку или бельевую, мой друг, прищепку,
А не прищепку, то винную, скажем, пробку,

Если бы ты вслед за классиком наудачу
Худшую из его сочинил бы книжек,
Если бы ты написал новый вальс собачий
Или придумал свой собственный «Чижик-пыжик»,

Ты перед нами предстал бы в другом аспекте,
Нас критикуя, привлек бы к себе вниманье,
Мы бы порадовались твоей скромной лепте
В общее дело смиренья и выживанья.

Как мы стихами восхищаемся,
Какой-нибудь строкой поэта!
Не взять ли слово «пресмыкающееся»
В стихи, хотя и странно это,
Зато его ни разу не было
Ни у кого до нас: впервые
Оно вползло в стихи, нелепое,
Поджав конечности кривые.

Малоприятное создание,
Само себя оно стыдится.
И суффикс «ющ», и окончание
Два «е» с возвратною частицей,
И всё в сохранности и целости,
Не проявляя беспокойства.
Как видишь, я набрался смелости!
Ты тоже, ящерка, не бойся.

Зачем открывается дверца шкафа
Тайком, ни с того ни с сего, сама?
Зачем вспоминается море, Яффа
Или Красноярск, Енисей, зима?

Никто не заказывал море, тучку,
Заснеженных улиц и площадей.
И дверцу никто не тянул за штучку,
Приделанную вроде ручки к ней.

Чудесные вещи творятся в мире!
Он тем и прекрасен, что он — ничей.
Морское дыханье, сквозняк в квартире,
Ассоциативная связь вещей.

Спокойней стучать не прикажешь сердцу,
Ни мыслей своих не учесть, ни чувств.
Я не отвечаю за эту дверцу,
За мысли и чувства не поручусь.

Я у окна стою в недоуменье,
Вечерней тенью залит и уныл.
Как будто день сказать хотел осенний
О чем-то мне под вечер — и забыл.

Осенний день, предзимние заботы,
Предсмертный шорох гибнущей листвы.
Как будто слой фальшивой позолоты
Закрасил жизни трещины и швы.

Как облака над городом нависли,
Какой сквозь них слепящий льется свет!
Скажи, Вильгельм, в другой, нездешней жизни
Бывает так же грустно или нет?

СИРЕНЬ

Сирень и не знает, что станет картиной,
Не знает, что ею взволнован опять
Художник, на этот раз юный, наивный,
А то бы поправила влажную прядь,
Качнулась размашистей, чтобы рутиной,
Повтором того, что известно, не стать.

Сирень бы раскинула грозди и листья
Иначе и новую позу нашла,
Чтоб выглядеть под ученической кистью
Моложе и ярче, чем прежде была.
Нет старости, нет окончательных истин,
Иначе б она каждый год не цвела!

СОДЕРЖАНИЕ

I	
«Прохожий с глобусом в руке...»	7
«Да, прекрасная затея...»	8
«У кораблика речного нет названья...»	9
«Наша тень любознательней нас...»	10
Замок	11
Девять тополей	12
«Фабричный кирпичный район городской...»	13
В гостях	14
Забывчивость	15
Пиковая дама	16
«Не было тайны такой...»	17
Полнолуние	18
В саду	20
На пароме	21
«От дебаркадера в ночь на пароме...»	21
«А дальше — в укромной каюте, вдвоем...»	22
II	
«Я вермута сделал глоток...»	23
«Оказывается, воспоминанье...»	24
Сигнаги	25
«Никто не виноват...»	26
«“С милого севера в сторону южную...”...»	27
«Так ветер куст приподнимал...»	28
Поле в Прибыткове	29
Запустение	30
«Ко мне он не сходил с Синайской высоты...»	31
Шум	32
«Леса у Толстого в романе не знали...»	33

«Художник работает быстро, быстрее меня...»	34
«Электроконтроль, приходивший на дачу...»	35
Молния	36
Новые окна	37
«А вы поэт какого века?..»	38
Два стихотворения	40
«Мечты о бессмертье тем более странны...»	40
«— Как страшно подумать, — сказал я на зное...»	41

III

«Надо было любить революцию...»	42
«“Остались детали”, — Кузмин говорил Юркуну...»	44
«“Не жаловаться, цыц!” Смешно, но справедливо...»	45
«А если бы к власти Рылеев пришел...»	46
«Не жалею о том, что я жил при советской власти...»	47
«Шел дождь, шел снег, всё шел и шел...»	48
Остановка	49
«Было время понять, что шахтеры...»	50
«Мне делать нечего — и я ворон считаю...»	51
«Разве в шестьдесят шестом сонете...»	52
«Говоришь, пустяк. Но так устроены...»	53
«Сегодня солнечно и ветрено...»	54
«Не было б места ни страху, ни злобе...»	55
«Есть разница между метелью и вьюгой...»	56
«По-русски придерживать шарф подбородком...»	57
«Как вы там в Испании своей в снегах живете...»	58
«Конечно, русский Крым, с прибором под скалою...»	59
«Плачет старик у разбитой стены...»	60

IV

«Какую книгу он читал, об этом...»	61
«В тот час, когда убьют Меркуцио...»	62
Град	63

«Ты море носишь теперь в кармане...»	64
«Мадонна, конечно, была итальянка...»	65
«Композитор Вентейль ставил ноты в романе Пруста...»	66
Арльские дамы	67
«Учитель, врач, механик, офицер...»	68
«— Саша! — он мне говорил, позвонив однажды...»	69
Сон	70
«Сегодня в гостях у меня побывало...»	71
«Кого бы с полки взять? Всех знаю наизусть...»	72

V

«Мне нравится тот миг, когда на кораблях...»	73
«Кораблик белый, двухмачтовый...»	74
«Помнишь, раньше ласточки летали...»	75
«Море ходит здесь по потолку...»	76
«Лежать ли в ящике, засыпанном землей...»	77
«Не в том беда, что мысль, а в том беда, что слово...»	78
«Нет утешенья, оправданья, прощенья ужасам земным...»	79
«Посмотрев на дела отца, неужели сын...»	80
«Рембрандт Харменс ван Рейн сам себе наскучил...»	81

VI

«Я читал об идее бессмертия у этрусков...»	82
«Прошла собака — и следы...»	83
«Ребенку нравится, что на земле живут...»	84
«Оделся, вышел на мороз...»	85
«Слониха топталась одною ногой...»	86
«У Коробочки в комнате были картинки с птицами...»	87
«Если бы ты, дорогой мой, придумал скрепку...»	88
«Как мы стихами восхищаемся...»	89
«Зачем открывается дверца шкафа...»	90
«Я у окна стою в недоуменье...»	91
Сирень	92

Литературно-художественное издание
Серия «Поэтическая библиотека»

Кушнер Александр Семенович

ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Книга новых стихов

Редактирование и корректура

Лариса Спиридонова

Художественный редактор

Валерий Калныньш

Верстка

Светлана Спиридонова

Подписано в печать 27.04.2015.

Формат 70x108¹/₃₂. Усл. печ. 4,2.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Тираж 2000 экз. Заказ №

«Время»

115326 Москва ул. Пятницкая, 25

Телефон (495) 951 5568

<http://books.vremya.ru>

e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»

620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13

<http://www.uralprint.ru>

e-mail: book@uralprint.ru